

**Федор Михайлович Решетников**

# **Горнорабочие**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Федор Михайлович Решетников**

Горнорабочие / Федор Михайлович Решетников – М.: Книга по Требованию, 2011. – 70 с.

**ISBN 978-5-4241-2565-2**

Роман “Горнорабочие” Решетников написал по впечатлениям своеобразной “творческой командировки” из Петербурга на Урал летом 1865 года. “Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии, — записывал он. — Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно ночью, в крестьянской одежде; я работал под именем семинариста, готового поступить хоть в рекруты”.

При поддержке Некрасова роман был опубликован в 1866 году, в первом номере “Современника” (первая часть). После закрытия журнала, после неудачных попыток Решетникова продолжить печатание в других изданиях, после утери рукописи, роман “Горнорабочие” остался в виде одной части из двенадцати сравнительно небольших глав.

**ISBN 978-5-4241-2565-2**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Федор Михайлович  
Решетников  
Горнорабочие



Роман

# Глава I

## НЕВЕСЕЛАЯ ВСТРЕЧА

Мы на одной из ветвей Уральских гор, в тридцати верстах от Осиновского железодельного, чугуноплавильного и медноплавильного завода, далеко в стороне от большого сибирского тракта. Осень еще не начиналась, потому что стоит июль месяц, но, несмотря на то, здесь стоит ужасная погода. В этом месте и в прошлом году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до ильина дня стоит жар, в ильин день пройдет над горой сердитая гроза - и потом дождик, который так и идет целые две недели; а ныне грозы не было, зато дождь начался с половины июля и, хотя он идет не постоянно, но все-таки идет, то через час, то через полчаса. Ничего бы и слякоть, так опять ветры дуют холодные, солнышко не показывается. Холод, ветер и дождь не только злят людей, но и тяжело действуют на растительность: от холода желтеют листья березы, желтеет трава, от ветра оголиваются деревья. Даже животные, щиплющие здесь траву, дрожат... И говорят люди, что погода в это время год от года становится все хуже и хуже.

Тихо, а еще пять часов вечера. В иную пору, в это время, так здесь весело: можно и по грибы сходить в лес, и рабочих можно увидеть: идут или едут они с рудника и поют песни, и далеко за горами раздается эхо. А теперь даже и птиц не слышно; разве сорока пролетит молча, да и та забьется в лес, скроется в ветке, стряхивая с себя дождь, чиста свой нос об ветку и злобно смотря по сторонам; спят белки, обитатели здешних лесов, или в беспокойстве перескакивают с сосны на осину, так что сухие ветви трещат; а воробышек, заменяющий здесь соловья своими песнями, тот давным-давно спит на ветке, спрятавши под крылышко свою красивую головку, и только по временам вздрагивает от ветра, холода и дождевых капель. Одни только большие красные черви, выползая из земли, нежатся на мокрой траве; но стоит только дотронуться до травы, как червяк миг улизнет в ту дыру, из которой он выполз...

Вот слышались откуда-то колокольцы. Бренчанье их слышалось все ближе и ближе, - и вот с южной стороны, откуда идет дорога в завод, показалась тройка лошадей, запряженных в повозку, которых погонял взмахом руки ямщик, сидящий на передке. Бедные кони, кажется, измучились; ноги их скользили по глинистой почве. Дорога хотя и усыпана шлаком (нагар от медной и железной руды), но ямщик ехал стороной, вероятно, потому, что неудобно ехать по шлаку. В повозке сидит какой-то барин в горнозаводской шинели, в фуражке, тоже горной формы. Они проехали, и опять скоро тихо стало.

С левой стороны (стоя лицом к заводу) выехал из лесу по узенькой дорожке, против которой, около большой дороги, стоит столбик с дощечкой с надписью: "Ильинский рудник", на одной лошади, запряженной в худую телегу домашнего изделия, человек лет под сорок. Одет он немного лучше крестьянина: на голове фуражка, започиненная двумя заплатами из серого и зеленого старого сукна, с изодранным козырьком, в зеленом тиковом халате, который от дождя походил на черную клеенку, продранном в разных местах и опоясанном кушаком домашнего изделия, в худых больших сапогах. По русым волосам течет дождевая вода с

фуражки и падает на корявое, бледное лицо и, мешаясь с новыми дождевыми каплями, течет по бороде, тоже русой, и потом падает ему на колени. Он то и дело утирает лицо своими черствыми, мозолистыми ладонями. На лице его, довольно правильном, выразались и досада, и проклятия. Он то зевал, то смотрел в лес, то кричал на лошадь:

- Ну-ка, дурак!..

Отъехал немного от столба, он слез с телеги, стегнул лошадь и пошел шагом.

Лошадь шла, чуть-чуть передвигая ноги, вероятно, потому, что она сызмальства приучена ходить так, а теперь, поработавши с хозяином вдоволь, она, зная хорошо эту дорогу, чувала, что и ей скоро будет отдых: она то взмахивала хвостом, то вздыхала, то широко глядела вперед, то оглядывалась, умильно взглядывая на хозяина. Хозяин лошади то перестигал ее, то отставал от нее и тупо глядел на ее копыта: на двух ногах подков нет, на третьей подкова болтается.

- Э-эх, ты, сокол ясный, друг прекрасный! - прокричал он остановившейся вдруг лошади и замахнулся на нее. Лошадь вздрогнула, рванулась и пошла по-прежнему.

- Экая погода-то, осподи!.. В те поры... - шептал хозяин лошади - и вдруг углубился в свои мысли, и лицо его принимало различное выражение.

- Ты, говорит, Токменцов, - подлец, ленивец, плут... На-тось! А зачем ты меня, ваше благородье, аспид проклятый, отодрал перед тем, как мне в крепильщика назначение вышло состоять?.. А зачем ты, стерво варнацкое, урок поставил: разе я волен, што не мог представить восьми коробов в день?.. Твоя лошадь-то? Разе лошади такое назначение выходит?.. Ишь, три рубля следует, а на говорит, Токменцов, дурак ты экой, семигривенной... Ну-ну, бурко миленькой, золотой, серебряной, штоб те калачиков двадцать...

Токменцов рассуждал про себя и разговаривал с лошадью.

Телега Токменцова была не пустая. В ней что-то лежало, покрытое ветхой, мокрой и грязной рогожей. Под рогожей что-то шевелилось.

- Ганька! - вскрикнул вдруг Токменцов.

- Ы! - послышалось из-под рогожи болезненно.

- Будь ты проклят, стерво! - сказал скороговоркой с сердцем Токменцов и плюнул. - На, штоб те язвело, анафемского парня!.. Говорил я тебе, не связывайся с Пашкой Крюковым, будешь стеган - нет!.. Вставай, будь ты проклят!! - кричал Токменцов и ткнул витнем в рогожу.

- Ой-е! - простонал Ганька и открыл рогожу. Дождь шел мелкий, как мука из сита.

- Што! мало те полысали, мало? - дразнил Токменцов Ганьку. Токменцов пошел в лес, достал из пазухи кисет с махоркой и трубкой и закурил. Лошадь остановилась. Ганька, парень лет тринадцати, с бледным, худым и таким грязным лицом, как будто он, не умывавшись с месяц, рылся в земле, лежал в телеге на животе. Лицо его выражало зло, и плутоватость, и страдание, которое выражалось часто, то охами при движении, то каким-то шепотом, то тем, что он грыз зубами рукав своей изгребной толстой синей рубахи, започиненной на спине красной выбоиной, то болтал ногами, на которых были надеты худые башмаки. При этом он больше глядел тупо на один предмет, и зрачки его глаз делались большими.

Отец опять шел около телеги.

- Тятка, дай сосну!

- Я те дам - сосну, сосун экой!

- Дай... - произнес протяжно Ганька, как дитя, просящее есть.

Отец молча дал сыну чубук с трубкой; сын затынулся раз и закашлялся.

- Туды же!.. - проговорил отец и вырвал у сына трубку. Немного погодя, он спросил: - Тебя што спрашивают: поди-ко, не больно, коли так-то стягают?

- Я, знашь, што сделаю? Подосенону рыло сверну.

- Хо-хо! Тогда так те отшлифуют, што...

- Не ври!

- Дурак ты! - И отец сел на козла. - Это, парень, все веники, а там береза будет.

Учись привыкать-кавыкать (терпеть): не ты первый, не ты последний.

- Сказано: Подосенону голову сорву! - крикнул зло Ганька.

- Хо-хо... Руки коротки.

- Тятка! - закричал Ганька и поднялся. Отец посмотрел на него весело: Ганька глядит чистым дикарем, по щекам ползут слезы... Отец сжал кулаки, крикнул и, ничего не сказав, обернулся к лошади. Так они ехали молча около часа. Потом Токменцов запел грустную песню, сначала негромко, а потом во все горло:

Уж ты, гулинька, да ты мой гулененочек!

О-ох, што же ты, гулинька, ко мне во гости не летаешь?

Разе домичку моего да не знаешь?

Разе голосу моего не слышишь?

Разе мой голос ветричком относит?

Али сизы крылушки частым дождем мочит,

Разосенненьким частым споливает...

- Тятка!

- "Частым да споливает..."

- А тятка?

- Чево тебе?

- Дай водички.

- Где бы я про те припас?

Што да не ласточка по полю летает...

- Тятка!

Отец перестал петь, а только насвистывал. Потом он задумался об том, что сына его Ганьку безвинно наказали на руднике розгами. Вдруг остановил лошадь, взял из телеги топор, подошел к лесу, около которого лежало недавно срубленное дерево.

- Экое дерево-то гожее! - И он, перерубив его натрое, положил в телегу рядом с сыном. В это время из завода подходила навстречу женщина лет сорока пяти, бледная, худая, высокая, с костлявыми руками. На голове ее надет красный платок, на синюю рубаху надет изорванный сарафан, на ногах худенькие башмаки с худыми чулками из шерсти, да на плечах мешок с чем-то. Это был весь ее костюм, а все это давно уже смокло до того, кажется, что не было и на теле ее ни одного сухого места; руки и лицо ее мокрые, по коленям текут черные полоски грязи.

Женщина поравнялась с Токменцовым и спросила:

- Ганька-то где-ка?

- Здесь, мамка! - сказал весело Ганька и приподнялся.

- Што ты парня-то не слал?

- Не слал!.. В первой, што ли!.. Не слал?!.. Прытка больно: всего вон исстяга-ли... Да ты-то куда?

- Знамо, куда! одна дорога: к главному, самому главному.

- Будь ты проклятая!.. - и Токменцов плюнул.

- Чего ты ругаешься? Поди, продавал где-нибудь шары-те. Две недели где-то шатался, шатало, а без тебя чудеса делаются.

- Какие чудеса?

- А таки чудеса, што Пашку задрали.

- Ну?!..

- А так: ты уехал на рудник-то, а Пашку на Петровский рудник угнали.

- Да ведь он в лихоманке был?

- Чего я делать-то стану; поди-кось, слушают нашева брата.

Токменцов поехал, но, отъехав немного, он остановил лошадь.

- Онисья! - крикнул он. Жена его остановилась.

- Чево?

И слезши с телеги, Токменцов пошел к ней.

- Так ты чего ино: куда теперь?

- Толком говорила, што к самому главному начальнику.

- Да ты, дура, сообразила ли: ну, што ты ему скажешь?

- Небось получше твоего. Ты бы поглядел, что это было! - сказала она, злобно рванув рубаху, и вдруг заплакала.

- Ну, дура, заживет.

Онисья долго ругалась, а Токменцов стоял молча.

- Гадина ты поганая! никакого-то у тебя разума нетутка! Ну, чего ты шары-то выпучил, стоишь?

- Молчи, гадина! Сама виновата: обращения такого не имеешь, штоб без беды не прожить. Нет, небось сама суешься, суета проклятая.

- Поди-кось, какие умные речи толкуешь! А по-твоему, это дело: парня взять больнова да и стегать - што ему робить но в силу? Ну, как я узнала, что его задрали, так я и пошла к управляющему, вломилась: с какого, говорю, права можете наших робят задирать? Поддай, говорю, варвар ты эдакой, моего сына, живого поддай!.. Возьми, говорит, хорони его. Ах, ты, говорю я ему, разбойник ты эдакой, покарает же тебя царица небесная... А он и отправил меня в полицию... Ну, где правда?

- Знаешь, я бы не советовал тебе идти-то.

- Отчего это так?

- Оттого, што и там толку-то нет, все равно, што здесь. Скажут: стоит бабы слушать.

- А по-твоему, мне так и ходить стеганой?.. Шалишь!

- А есть ли у те пропитал-то? Это ты сообразила ли?

- Кто его, пропитал, припас? Христом-богом дойду, добры люди накормят.

- Мамка, и я с тобой!

- Я тебе дам! Мало еще тебя стегали?

Дело в том состояло, что в отсутствие Токменцова сына его Павла, шестна-

дцати лет, называвшегося по-заводски подростком, взяли хворого на рудник и там за какую-то вину наказали розгами так, что он на четвертый день умер. Узнавши об этом, мать и пошла к управляющему, но ее за грубые выражения наказали розгами. Теперь она отправилась с жалобой к главному начальнику горных заводов. Токменцов положительно стал втупик от намерения жены. Оба они люди бедные, пропитание они достают с помощью лошади и детей, которые получают провиант: стало быть, у них одного работника не стало. Даже и тогда человеку рабочему становится горько, когда у него умрет лошадь, а теперь разве ему не горько, что одного сына задрали, а другой тоже, может быть, не избегнет этой же участи? Но он боролся с тем, что будет ли толк какой от жалобы жены и не будет ли ому от этого хуже; а на это он имел десятки фактов.

- Ты бы, Онисья, подумала, что сделали с Фитулихой?

- Сам плох, так и не подаст и бог. Известно, разиня.

- Ой, Онисья, плохо будет: наживешь ты со своей жалобой беды.

Онисья представила себе положение вдовы Фитулиной, которая своей жалобой не только не помогла делу, а все испортила, но зато у нее не задрали сына, ее не стегали.

- Про это я сама знаю.

Онисья долго стояла, думая: идти ли ей в самом деле? Кто его знает: Иваныч ровно правду говорит, да как же они смеют! Пойду! - сказала она громко и сердито, - и пошла наша Онисья, а муж ее, задумавшись, ехал в завод. Он так был зол в это время, что попадись ему навстречу какой-нибудь надзиратель, он избил бы его так, что тот на всю жизнь бы калекой сделался. Ганька несколько раз что-то спрашивал у него, но не добился ответа.

До завода верст десять осталось. Лес начинает редеть; около лесу, по обеим сторонам дороги, во многих местах навалены дрова-долготье, в нескольких местах видны черные большие круги на земле; в двух местах жгут кучонки: кучи в два аршина вышины и в полтора ширины, обваленные свежей землей, и из этих куч в боковые отверстия идет дым. На одной куче стоят двое рабочих в рубахах и скачут - это они убивают горящие под землей дрова, а третий большой ступой бьет с одного боку кучу, - это он садит на товар дрова. В другой куче в середине сделался провал, отчего пламя высоко поднималось. Двое рабочих бросают в середину дрова, а третий кидает туда земли, или зернит. Между этими кучами стоит балаган - род пирамидального трехстенного шалаша, в середине которого разложен огонь. Из третьей кучи выбрасывают золу, землю и ломают длинные толстые угли: один рабочий бьет лопатой, другой граблями отдергивает мелкие угли; третий и четвертый накладывают угли в телегу, пятый уже далеко едет на завод. Это рабочие справляют куренные работы. За семь верст от завода, которого еще не видать, потому что местность идет ровная, а дорога повертывает налево и идет между мелким, редким лесом, - в этом месте попадаются запоздалые коровы, щиплющие траву, попадаются овечки, облизывающие друг друга и как-то болезненно смотрящие по сторонам. Дождь то переставал, то шел снова... Вот откуда-то послышалась заунывная протяжная песня и смолкла опять, а Токменцов сидит все злой, и чем ближе подъезжает он к заводу, то он становится злее.

Гаврила Иваныч Токменцов, как и другие его товарищи, принадлежал наследникам Граблева и назывался непременно работником, как назывался и покой-

ный отец его и как будут называться и дети его. Рос он, как и прочие росли. С тех пор, как он мог ходить на своих ногах, он летом постоянно был на улице и вполне приучался к заводской жизни: сначала валялся в песке и грязи, потом стал бегать по этой грязи и песку в рубашке, без штанов и обуви, потом стал играть, был бит от старых и малых и сам приучался драться, и, между прочим, уже восьми лет владел топором, учился косить траву, умел высверливать на шариках дырки, запрягал и распрягал лошадь, так что физические его силы быстро возрастали и крепили. Бывши мальчуганом, он слыл за отличного бойца и ловкого плута, умел обругать кого угодно так же, как ругается и его отец, усвоивший ругань тоже с детства, и с терпением переносил розги, которых пришлось ему принимать еще очень много. Отец его был крепкий раскольник беспоповщинской секты, но Гаврила Иваныч считается православным; впрочем, в церковь он ходил только в самые большие праздники. В кругу товарищей он уже давно приучился курить табак и потягивал водку. Попавши с двенадцати лет на рудники, под именем малолетка, он уже походил на рабочего: например, он работал на конной машине, погоняя лошадей, таскал в тачках песок, угли и тому подобные вещи. Таким образом, находясь постоянно на работе и сталкиваясь с людьми, он уже в это время не уступал ни речами, ни манерами взрослому рабочему и не был такой сонливый, какими кажутся наши крестьянские парни. В обществе товарищей он изощрялся и сам своим умом на остроты, насмешки; услышав от механика-иностранца иное непонятное слово, он вместе с товарищами прозывал этого механика мудреным словом или складывал песни, пародию на управляющего, прикащика или исправника. Понятия его были так же ограничены, как и у всех, и хотя он родился в раскольнической семье и умел читать и писать, но знал столько же, сколько и другие знали, потому что ему неоткуда было приобрести больше знаний, да он, правда, и сам не нуждался в этом. Попавши в рабочие и проработавши с год, он узнал, что значит быть горнорабочим: прежде хотя и трудновато было, хотелось играть, и дирали на славу за лень, и в шахте приходилось ползать с тачкой на коленях, но все же было как-то легче; теперь он настоящий рабочий: его посылали на работу вместе с прочими, и если урок не выполнялся, его и товарищей драли или обижали провиантом, деньгами. Нисколько не отличаясь от обыкновенных рабочих, он был, надо сказать, человек честный, практический и по заводу не глупый. Одно только водилось за ним: он, как и другие, потаскивал полосы железа, которые потом продавал, таскал свечи сальные из рудников; но, как мы увидим дальше, этого ему и нельзя было ставить в особую вину.

На Онисье Кириловне он женился на двадцатом году. Женился, конечно, по любви: он был уже взрослый парень, с Онисьей он рос вместе, вместе играл до пятнадцатилетнего возраста, а потом обращался с ней по-своему: то щипнет, то воду прольет, та отделялась от него бранью и колотушками. Кроме этого, его побуждало жениться еще то: он будет сам хозяин, будет получать четыре пуда провианта, и на детей пойдет тоже провиант. Онисья росла в бедной семье и выросла, как и прочие заводские девушки: научилась домашнему хозяйству, умела косить, лошадь запрячь и ездить верхом на лошади, умела шить и вязать чулки. По умственному развитию она была все-таки ниже мужа: в девушках ей не приходилось слышать от старших много хорошего; вышедши замуж, она сначала работала вместе с мужем около рудников, а потом она стала водиться с детьми; а известно, что рабочему человеку, занятому домашним хозяйством и

детьми, заботы много, и думать о чем-нибудь приходится разве за чулком, да и тут от ребяческого крика не много надумаешь.

Онисья Кириловна была хозяйка хорошая, и, если бы не рожала детей, она бы непременно стала работать с мужем, как это часто делают многие женщины на заводах и промыслах. Но теперь у нее есть дочь восемнадцати лет, Елена, которая помогает ей в хозяйстве; было трое сыновей: Павел шестнадцати, Гаврила тринадцати и Николай пяти лет, из которых Павла задрали на руднике. Павла она любила больше других детей, и потому ей очень тяжело было, когда его несправедливо взяли больного на рудник и там задрали; тем более тяжело, когда за правду ее же наказали.

Но будет ли какой прок из ее жалобы? Мысль об этом мучила Гаврилу Иванныча, который хотя и имел со всеми рабочими большую антипатию к начальству, но трусил, как и все трусят, что главный начальник не выслушает жалобу от бабы, а управляющий или прикащик сделает не только бабе пакость, но достанется и мужу. "Ну, будет что будет! бог не без милости!" - подумал Токменцов и вздохнул; на душе сделалось немного полегче.